

Томас Венцлова
Нью-Хейвен, США

О ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ МЕСЯЦАХ БРОДСКОГО В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ *

Более сорока лет я веду дневник, заполняя его почти ежедневно. Это я делал и в Советском Союзе, что было довольно рискованно. Дневник я старательно прятал (он, к счастью, никому не попался на глаза). В 1977 году мне удалось вывезти его из СССР. Многие записи связаны с Иосифом Бродским, которого я знал с лета 1966 года. Здесь публикуются отрывки, относящиеся к марту—июню 1972 года: с момента, когда Бродский еще не знал о предстоящем отъезде на Запад (хотя об этом и задумывался), до того дня, когда он покинул Ленинград.

Записи сделаны по-литовски, хотя многие беседы — на том языке, на котором они велись. При переводе я стремился к максимальной точности. Публикуется только то, что имеет отношение к Бродскому и его ближайшему кругу. Купированы моменты, о которых пока рано говорить. Пропуски отмечены многоточиями в квадратных скобках.

Дневник хранится: Tomas Venclova Papers, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University.

16 марта. В три часа после полудня оказался в Ленинграде. Пошли вместе с Эрой [Коробовой] на просмотр «Матери Иоанны» (этот фильм был когда-то запрещен местными властями, так что здесь никто его не видел, и теперь на просмотре, в доме культуры имени Кирова, собралась вся городская интеллигенция). Встретил Иосифа, Кэрл [Аншютц], Шмакова, Цехновицеров. [...]

У дома имени Кирова устроены аттракционы — просто уголок Америки. Я: «Чего доброго, Союз понемногу возьмет и превратится в Соединенные Штаты». Иосиф: «Так долго ждать я не согласен».

18 марта. Две выставки — лубок времен Петра I и новгородские иконы. [...]

Вечером то ли омовение [моего] сборника, то ли просто выпивка — Иосиф, Чертков, Ромас [Катилюс], Кэрл. Все весели-

* Впервые опубликовано на польском языке: *Venclova T. O ostatnich trzech miesiącach Brodskiego z Związku Radzieckim // Zeszyty Literackie. 2007. Nr. 100. S. 101—116.* Журнальная публикация в России: *Венцлова Т. О последних трех месяцах Бродского в Советском Союзе // Новое лит. обозрение. 2011. № 112. С. 261—272.*

лись, знакомя Кэрол с русской алкогольной терминологией: она заполнила полтетради синонимами: «дербалызнуть, набудзыряться, надраться, сообразить...»

Иосиф: «Марамзин мне принес мои собственные стихи, писанные перед арестом, — “Песни счастливой зимы”. Раньше я на них и смотреть не мог, а теперь вижу, что здорово».

И сегодня он пришел с большой кипой стихов. Два стихотворения [«Набросок» и «Одиссей Телемаку»] переписываю. Первое — как бы из только что виденной выставки. Второе несомненно принадлежит к десятку лучших работ Иосифа: напоминает Кавафиса, но его превосходит. Даже ирония по адресу греков — как бы ирония грека, Кавафиса.

[...]

Надо полагать, в «Телемаке» есть нечто автобиографическое. Но в общем стихи Иосифа интерпретировать трудно. Есть еще стихи «Одному тирану» — я заподозрил, что это В.[ладимир] И.[льич], Эра — что Гитлер, но И.[осиф] сказал, что тиран абстрактен. «Похороны Бобо» — об Ахматовой (?). [...]

19 марта. Мы обедали с Иосифом в ресторане «Ленинград». В окно там видна огромная Нева и крейсер [«Аврора»]. И. был сравнительно весел, декламировал лимерики и рисовал, спрашивал о Чеславе Милоше («до сих пор я думал, что лучший польский поэт — Херберт»).

«А “Ноябрьскую симфонию” [Оскара Милоша] я до сих пор не перевел, хотя очень хочется; но мне это трудно, потому что там совсем нет мысли — одна пластика».

Говорил, что ему надо бы сочинить трактат «Philosophy of endurance» [Философия сопротивления. — *Ред.*] (о том, как вести себя в тоталитарном мире).

По поводу «Бобо» я ошибся («Бобо — это абсолютное ничто»).

Немало говорили о мифе Телегона [Телегон — сын Одиссея от Цирцеи] и, наверно, зря, потому что для Иосифа это очень личный миф.

А все кончилось тем, что И. поведал «top secret» [нечто совершенно секретное]:

[...] [Речь шла о мысли вступить в брак с западной женщиной]. Последствия достаточно однозначны — отъезд «more or less forever» [более или менее навсегда].

Не знаю, удастся ли это ему, и захочет ли он этого в конце концов. [...]

НВ. Еще кое-что из разговора. «Один тиран» может случиться «где угодно на восток от Гринвича». «Письма римскому другу» — во многих местах просто переводы Марциала.

«В моих стихах нет иронии. Есть только rage [гнев, бешенство]. Иронию я ненавижу — это способ заглушать чувство вины».

26 марта. [...]

Вчера по приглашению были у Миши Мильчика: в его квартиру на Выборгской стороне собралось двенадцать человек, включая Иосифа. Слушали стихи — «Памяти Т. Б.» и несколько новых, которые я уже знаю. Наиболее серьезным мне на этот раз показался «Натюрморт». Сказал это Иосифу. «Да, пожалуй, это лучшие стихи, какие я написал».

Говорили много: записываю то, что интересно.

Н.: «Что бы ты включил в свое избранное?» И.: «В основном длинные стихи. До 1963 года почти все — лажа. Включил бы “Ты поскачешь...” как пример ранних, “Большую элегию”, “Авр.[аама] и И.[саака]”, “Стансы к Августе”, “Прощайте, мадмуазель Вероника”, “Пень без музыки”, “Натюрморт”». Н.: «А “Памяти Элита”?» И.: «Ну да». Я: «А “Одиссеей Телемаку”?» И.: «Да, и еще “Энея и Дидону”. И “Рождественский романс”».

И.: «Стих, в общем, то же, что и проза; есть, правда, различия, но стих пишется, а не произносится. И все же ямб или другой размер задает круг интонаций. А мои стихи надо бы читать с абсолютно белой интонацией, без окраски. Я этого не умею, к сожалению».

О своих стихах «Памяти Т. Б.»: «В них абсолютно отсутствует чувство. То есть дана ситуация, где адекватная реакция невозможна. Адекватную реакцию заменяет знак. Ну, как в живописи: в ногах фигуры ставится череп. Потом уже не череп, а вензель: художник еще понимает, что это череп, а зритель перестает понимать».

(Стихи эти посвящены Тане Боровковой — она утонула рядом со своей лодкой, но не погрузилась на дно, и осталось неясно, то ли это самоубийство, то ли сердечный удар, то ли что иное. Впрочем, факты можно понять и по стихотворению).

Кто-то: «Собственно говоря, ты первый выпрыгнул из русской поэтической традиции, между которой и западной — пропасть». И.: «Это не совсем так. Русская поэтика действительно тормозит развитие мысли, и в России есть установка на маленький шедевр. Но началась русская поэзия с Кантемира. А у него была, грубо говоря, диалектика, изложение разных точек зрения, затем — своей. Подобные каркасы умели строить еще Баратынский и Цветаева. У нас, у русских поэтов, популяция огромная, и кое-чего мы достигли. А на Западе есть свои эмоционалисты, их больше, чем нужно».

Опять И.: «Вообще-то поэт не должен быть объектом наблюдения — он должен давить аудиторию, как танк. Но от людей примерно одного со мной возраста, у которых тот же experience [опыт], которые жили подобно мне и думали на те же темы, я жду не про-

сто восторженного молчания. Скажем, я говорю: у лошади морда как флаг. На это мне могут сказать: дурак ты, ведь погода безветренная. Или: ничего себе, в этом что-то есть. Но не молчать».

Когда зашла речь об Элиоте, И. неожиданно сравнил его с [литовским поэтом] Людасом Гирой: «Оба они хотели власти вне поэзии — Гира пошел служить в полицию, Элиот стал писать статьи и создал крайне сомнительную теорию элиты».

Потом мы ехали домой на трамвае. И. стал хвалить мои стихи — «Холод сумерек встретил меня», которые ему без моего ведома дословно перевел Ромас. Я: «Геометрические образы вроде циркуля, меняющего радиус, украдены у тебя». И.: «А мной — у Донна».

Трамвай до Литейного тащился долго. Мы успели поговорить даже о Бетаки [...]. Запомнились еще две фразы: «Общество кое-что должно поэту, но никто не должен персонально»; другая фраза касается недавних стихов: «В строках о Посейдоне, — “пока мы там / теряли время, растянул пространство”, — имеется в виду мифическое время. — «По Элиаде?» — «Да».

27 марта. [...]

Читал «Мастерство Гоголя» и снова удивлялся, как близок Бродскому «тип гениальности» Белого: слова несут — и все время идут попытки уточнять, расширять каждый намек. И прозрения иной раз не хуже, чем у Иосифа.

Переписал «Натюрморт» и испугался, ибо это стихи самоубийцы.

[...]

У Черткова. Был еще Бобышев. [...]

Бобышев: «Мы были у Самойлова вчетвером — Иосиф, Рейн, Толя [Найман] и я. Как раз в этой точке времени мы сошлись ближе всего — потом стали расходиться из нее в разных направлениях, как всегда бывает (показал руками, как это бывает). Самойлов прочел стихи об Алике Рывине — “никто не помнит о поэте, как будто не было его”. Мы единодушно стали его лажать: если что было, значит, оно и есть. Самойлов нас не понял — наверно, потому, что получалось: его-то, Самойлова, нет».

Чертков: «Я чувствую, что живу контрабандой: по всем правилам давно должен был сгнить, а вот живу».

28 марта. [...]

И.: «Я впервые попал в валютный бар: после этого спал не более часа, и разбудили меня какие-то два типа, прибывшие с добрыми пожеланиями от Одена. И даже от Бретона. Несомненные гомосексуалисты».

29 марта. У Иосифа; была и Кэрол. И. показывал только что написанные стихи — «Сретенье». Четыре дня тому назад он еще собирался их делать. Стихи несколько пахивают поздним Пастернаком, хотя, видимо, лучше его. По словам И., «это о встрече Ветхого Завета с Новым».

Долгий и довольно серьезный разговор. Я говорил о том, как понимаю «Натюрморт»: мы живем уже после мировой катастрофы, может быть, даже после Страшного Суда, по ту сторону, оказавшись в пустоте, которую должны заполнять хотя бы словами, если ничего лучшего нам не дано. Есть выбор только между разными видами смерти: «смерть в качестве red [красного]», «смерть в качестве dead [мертвого]» и так далее. Может, это своеобразное чистилище. И. сказал, что на сто процентов согласен: «И особенно это касается “Бобо”».

Я: «Тебе не кажется, что ты в стихах можешь одновременно говорить противоречащие друг другу вещи?» И.: «Нет. В одном и том же стихотворении, в один и тот же период — нет».

Просматривали недавние переводы И. из Уилбера: ирония в оригинале, чего доброго, торжественнее, у И. — более буднично (он согласился и с этим). Пospорили об Архилохе (Афродита или Необула?) и о гомеровских эпитетах. Получил от него в подарок Сильвию Плат.

Кое-что, услышанное в этот вечер от И.:

«Черткова я полюбил тогда, когда он сказал мне в пьяном виде: “Старик, я решительно не понимаю, о чем ты пишешь”».

«Если бы я составлял антологию русской прозы, туда бы вошла “Капитанская дочка”, “Записки сумасшедшего”, “Записки из подполья”, “Севастопольские рассказы”, что-либо из Платонова и “Приглашение на казнь”. Зоценко и Булгаков не нужны. “Петербург” Белого — замечательная вещь, но я не люблю писателей одной книги. Книги в литературе, может, и не столь существенны, но существенна работа».

«Мелвилл дал набор персонажей для американской литературы на сто лет вперед. Например, Старбек — это Гэвин Стивенс [герой Фолкнера] и многие другие».

30 марта. *Escriture* [способ писания] Иосифа — наверно, прозаичность; превращение перифразы, инверсии и переноса в норму. Это выбрано исходя из темы, времени, традиции, и это лучший выбор. Все другое — стиль, который сам выбирает человека и с которым спорить нельзя.

Боюсь за И. и за его довольно катастрофический образ жизни. Сегодня возвращаюсь в Вильнюс. [...]

31 марта. В Вильнюсе. [...]

С Натальей [Трауберг] читали «Натюрморт»: оба в один голос сказали, что это та же «Бесплодная земля» [Элиота], только короче и лучше. Конец понимаем по-разному: она — «оптимистичнее» («типичные иезуитские медитации»), я — как выражение «героического агностицизма» (И. скорее на моей стороне).

4 апреля. [...]

Иосиф общается с астрономом Козыревым и очень им очарован.

Усиливающееся одиночество, комплексы И. Желание поощрений («вот это место — ведь замечательно?»), словно бы он не верил, что умеет писать. NB. Его идея изготовить серию стихов-икон, таких как «Сретенье», охватывающую весь цикл Христа.

29 апреля. [...]. [28-го автор этих строк приехал в Москву.]

И еще — Эра встретила Рейна. Тот вчера видел Евтушенко, только что вернувшегося из Америки (таможенники раздели его догола и шмонали как Ворошильского). Евт. заявил: «Дела Бродского в порядке — он сможет уехать».

Надо порадоваться за Иосифа — здесь он близок к смерти. Но какая пустота возникнет с его отъездом!

В общем, в этой стране скоро не останется никакой «соли земли». И тогда каторга станет всего безнадежнее.

1 мая. Звонил Бродскому [из Москвы] в Ленинград. Услышав мои намеки, он расхохотался: «У меня нет никаких дел, и поэтому они не могут быть в порядке. Сiju и честно зарабатываю свою пайку, переводя рабби Тагора — дерьмо отменное». Рейн, конечно, мог и приврать. Евтушенко — тоже. А может, тут и что иное.

7 мая. [...]

Зашел Рейн с женой — он опять заявлял, что Иосиф уезжает. [...]

15 мая. [...]

Созвонился с Иосифом — он, как из «конспиративного» разговора кажется, действительно едет.

17 мая. [...]

У Люды Сергеевой. Недавно — три недели назад — ее посетил Бродский [...]. [Обсуждались возможности отъезда и препятствующие этому причины.] Плюс — ностальгия, может, и невозможность приспособиться: вряд ли он повторит «казус» Набокова (Набоков выучил английский, так или иначе, в раннем детстве).

Другие обычаи: у нас все решает дружба, такая, что возникает в концлагере — делятся последней папироской. На Западе этого несомненно нет. И все-таки, если бы он (или кто-то другой) попросил бы у меня совета, мне бы осталось только процитировать известный рассказ Джерома. То есть выбирай любимую красотку, а не гнусную старуху, и никаких советов не слушай.

19 мая. Встретили Профферов — Карла и Эллендеа. Наконец-то все выяснилось.

Первого мая, когда я звонил Иосифу, он еще ничего не знал. А девятого [на самом деле, видимо, двенадцатого] мая его вызвали в ОВИР и спросили: «Вас же приглашают в Израиль — почему не подаете заявление?» Опасаясь провокации, И. около часа ничего ясного не говорил, потом отрезал: «Я думал, это не имеет смысла». — «Почему не имеет? Заполните форму, и мы дадим время на сборы до конца месяца».

Разумеется, И. поедет не в Израиль: вначале из Вены в Англию, оттуда в Анн Арбор, где Профферы издают журнал, посвященный русской литературе (по этому случаю я видел два [его] номера). Станет «университетским поэтом».

Эллендеа: «Ностальгия — это ведь такая прекрасная тема».

[...] В целом все выглядит оптимально: Иосиф получит американское гражданство, сможет пригласить родителей, может быть, даже приехать. Э.[ллендеа]: «Так или иначе, вы когда-нибудь встретитесь в Польше».

В Ленинграде, по слову Профферов, — цирк и похороны. Многие, прежде всего родители, Иосифа отговаривают, хотя власти ясно дали ему понять, что его ожидают беды, если он останется. [...]

Из государства выходит воздух, как из шины с отвернутым вентилем.

Позвонил Иосифу. [Иосиф:] «Настроение у меня совершенно никакое — пусто, да и только». С собой он возьмет лишь пишущую машинку.

Еду в Ленинград.

20 мая. День с Иосифом.

Несколько часов ходили по набережной Невы, между Литейным и Смольным, вдоль заборов и по пустырям, глядя то на «Большой дом», то на Кресты, которые Иосиф называет «тюрьма в мавританском стиле». Сидели под мостом, курили. Говорили о предметах, о которых я умолчу даже в этом дневнике: слишком многих людей они касаются [...]. [Речь шла о том, что ряд друзей Иосифа мог бы переселиться в США и создать там «колонию».]

Все это уже похоже на прощание. Осталось несколько дней — видимо, И. будет выслан перед визитом Никсона в Ленинград.

От Ал.[ександра] Ив.[ановича] [отца Иосифа] слышал, что [...] И. написал заявление в Верховный Совет [по поводу нарушений его прав] и вскоре после этого получил приглашение зайти в ОВИР.

Теперь он пишет письмо К.[осыгину] — просит, чтобы ему разрешили исполнить договоры, кончить переводы Норвида и английских метафизиков. «Хотя я уже не советский гражданин, я остаюсь русским литератором». Бессмысленно ожидать, что из этого письма что-либо получится, но принципиальное значение оно имеет.

«В ОВИРе — политес, в Союзе писателей характеристику мне выдали в пять минут — бежали, прыгая через ступеньки. А я все-таки думал, что представляю для них хоть потенциальную ценность». — «Ну, знаешь ли, представлять для них ценность — невелика честь». — «Ты прав».

«Кстати, я сочинил песенку на мотив Пиаф:

Подам, подам, подам,
Подам документы в ОВИР,
К мадам, к мадам, к мадам
Отправлюсь я к Голде Меир.

Я не Конрад и не Набоков, меня ждет судьба лектора, возможно, издателя. Не исключено, что напишу “Божественную комедию” — но на еврейский манер, справа налево, то есть кончая адом».

«Во всяком случае, пребывание там для меня — просто новая духовная задача». — «Написал ли ты что-либо после “Сре-тенья”?» — «Нет, следующая вещь будет уже “Симфония из Нового света”, как у Дворжака». (Смех.)

Зашли в треугольный двор невдалеке от Литейного, и Иосиф показал мне окно в самом узком месте, обращенное к глухой стене: «Здесь я писал “Авраама и Исаака”, хорошее это было время. У двора замечательный периметр, да и вообще периметр во дворах — главное».

Встретили Уфлянда (И. очень его любит, особенно строки «Мы светила заменим темнилами, сердцу нашему более мильми»). Как ни странно, он еще ничего не знал. Прошли мимо афиши «Пушкинские празднества», вывешенной на дверях Союза писателей. И.: «Ну, это уж извольте без меня».

Потом долго сидели в темной комнате Иосифа. Как всегда, пошел разговор о его любимых авторах — Сильвии Плат, Плущи-ке («Норатио»), Дилане Томасе («рассказ о рождестве в Уэльсе» [«Детство, Рождество, Уэльс». — *Ред.*] — это стихи, и я пробовал

переводить его стихами»). Сен-Жон Перса И. считает «zero» [нулем] — правда, читал его только по-русски и по-польски. «Апалеста» Паунда — «полное дилетантство».

И.: «Читал ли ты книжку Горбаневской?» — «Да, читал — на пятнадцать стихотворений одно очень хорошее». — «По-моему, больше».

«Сергеев — не поэт, но видно по его последним вещам, что он живет, а не обретаётся в nothingness [ничто]. [...] N — плохой человек, и при этом он неталантлив. Талантливый человек не может быть плохим». Я: «А Блок?» — «Знаешь, я всегда подозревал, что он был бездарен».

Около четвертого часа зашло несколько ребят — Иосиф раздаёт свою библиотеку (мне достался словарь сленга, двухтомник Клюева — это новое поэтическое открытие и радость И. — и еще кое-что). Взял книги с условием, что буду хранить их до возвращения И. Комнату его Ал. Ив. хочет превратить в «мемориальную». Но И., как всегда, по-королевски дарит драгоценности другим.

Потом с Чертковым и Эрой мы были в ресторанчике «Волхов», где И. пил за «family reunion» [семейную встречу].

«Через две недели после визита Н.[иксона] выяснится, что будет с отъездами вообще».

Я: «Не хотелось бы сдохнуть, не повидав мир». И.: «Да, у всех у нас ощущение, что нас объ..ли».

Все же сегодня — очень улучшившееся, даже приподнятое настроение.

Вечером — у Ромаса, который рассказывал, как Иосиф пишет. «То, что он сразу стучит на машинке — это, вероятно, легенда. Если начинаешь критиковать какую-либо его строчку, он долго ее защищает, а несколько дней спустя приносит новый вариант стихотворения. Иногда строчка даже остается, но в ее окрестностях обязательно появляются, по крайней мере, три строфы».

[...]

21 мая. Поездка с Ромасом и И. в Ушково, к Ефиму Эткинду.
[...]

Проводили время на даче, обедали, потом гуляли и фотографировались на холме, с которого видна чуть ли не Финляндия. И.: «Вот еще один неплохо убитый день». Ощущение, что каждый день — последний.

Шел разговор о Лотмане. И. возмущен его последней книгой: «Он дошел до того, что “рифм сигнальные звоночки” у Ахматовой объясняет как звонок пишущей машинки в конце строфы. И вообще все это похоже на магистра Ортуина Грация [герой «Писем темных людей»]. Подход не с того конца». Я: «По-моему, подходить надо с пятидесяти разных концов — тогда, может, что и по-

лучится». И.: «Ну, пожалуй, с этим я согласен». Я: «А можно ли, по-твоему, вообще вскрыть механизм стиха?» И.: «Несомненно, но только тогда, если исследователь стоит на одном уровне с автором. Я знаю только два таких случая — Тынянова и ахматовские статьи о Пушкине. Эйхенбаум вообще ничего не понимал».

Оказалось, что обыск у Лотманов — результат доноса [...]. Эткинд: «Хорошо бы написать книгу “Психология доноса”». Я: «Психология и поэтика доноса». И.: «Психология, поэтика и практика доноса».

Потом перешли к Ходасевичу: Иосиф необычайно любит его «Обезьяну», особенно сравнение с Дарием.

«Спонда я, увы, уже не переведу — и не знаю, кто бы мог это сделать вместо меня. Но английских метафизиков обязательно кончу там».

Хватало и острог. И.: «Вот дом, который построил зэк». Кто-то рассказал историю о некоем В. Г., который просил своего знакомого американского стажера: «Джон, запишись, пожалуйста, на встречу с Никсоном». — «А на кой это мне?» — «Запишись, я пойду вместо тебя». — «Зачем?» — «Подойду и скажу: дяденька Никсон, усыновите меня к такой-то матери и увезите отсюда».

Я: «Кстати, Иосиф, на тебя клонут разные левые во главе с Кон-Бендитом [...]». И.: «Что ж, открою дверь, скажу: “А-а, Кон!” — и двину его в пах. [...]» Ромас: «И автоматически станешь главой маоистов».

Конечно, многие (и сам Иосиф) подозревают, что его отъезд может не состояться: возьмут и скажут ему на аэродроме: «It's a practical joke» [это розыгрыш]. И все же любимая фраза И. сейчас — «Передайте: будет в Штатах — пусть заходит».

Отлично, что он вполне спокоен и готов ко всем возможным вариантам.

Вернулись на поезде с ассириологом Дьяконовым, тоже милым человеком.

Что еще записать? Был разговор о [польском поэте] Гроховяке (И. хвалил его [стихотворение] «Банко», которое услышал от меня) и об Ионеско (И.: «Это едва ли не единственный умный человек на Западе, особенно в отношении к новым левым»). С Финляндского вокзала шли ночью, уже без Ромаса, но с Машей [Эткинд]. И.: «А в общем, зачем мне отъезд? У меня была работа, появились деньги, к тому же — вот, белая ночь...» Маша: «...или утопленница».

Шли как раз мимо «Большого дома» (и, кстати, к нам пристроилась — за несколько или десятков с лишним шагов — пьяная либо изображающая таковую парочка). И.: «Вот чем кончился мой поединок с этим домом».

И еще его слова: «Самое оскорбительное занятие — искать в человеческой жизни какой-либо смысл».

[...]

22 мая. [...]

Недолго был у Иосифа. Ему удалось добиться продления [срока отъезда] до десятого июня. Видел новые его переводы из Марвелла: самому И. больше всего нравится «Фавн» [«Нимфа, оплакивающая смерть своего фавна»], мне — «Сoy Mistress» [«Застенчивой возлюбленной»]. И.: «Но это же легкий жанр». Я: «Примерно такой же легкий, как “Блоха” — сиречь, не легкий». И.: «В общем, да».

Вечером — Чертковы и Рейн. Об Иосифе, словно сговорившись, не беседовали. Зато Чертков был в очень «хорошей форме» и рассказывал множество лагерных историй, с большим почтением упоминая литовцев.

23 мая. Вдали от центра разыскал А.[гнессу Чернову] с Андрюсом [сыном автора этих строк] [...]. Повез его в город; так как в четыре мы договаривались ехать с Иосифом в Петергоф, оставалось их познакомить. Может, это ошибка — я зря напомнил Иосифу о его собственных проблемах. А он и так был в скверном настроении — по случаю выписки и подобных дел. («Когда имеешь дело с ГБ, все же чувствуешь нечто европейское; но жакт [жилищно-арендное кооперативное товарищество. — *Ред.*] и милиционеры — это уже свыше человеческих сил. Страшный Суд им, по-видимому, не нужен»). Все-таки играл с Андрюсом, носил его на шее и превосходно объяснял, что такое фотография и адаптер. «Приятно слышать русский язык из уст такого вот человечка».

В Петергоф мы не поехали. Оставив Иосифа в покое, с Эрой повели Андрюса к памятнику Крылова и покатали на парохоме. [...]

24 мая. Сегодня день рождения Иосифа — последний в этой стране.

Утром, по просьбе Ал. Ив., мы с Эрой и Лорой Степановой переставили его библиотеку. Не будет больше комнаты, где столько всего происходило. Дело в том, что иначе у родителей ее могут просто отобрать. Все делалось согласно желанию самого Иосифа — но когда он пришел и увидел голые стены, кучи книг, хаос, потерял самообладание.

Уже второй день ощущение непоправимой, идиотской ошибки.

Пыли — словно в «Натюрморте».

Иосиф немедленно ушел. Час спустя позвонил мне и пригласил вместе пообедать. «Я получил свой последний гонорар — сто семьдесят рублей от кино за перевод текста — и поэтому угощаю».

Ели — и немало выпили — в ресторане «Универсаль», вдвоем. Разговоры были чисто личными, и записывать их бессмысленно. [...]

«Ну, вот я и начал свой день рождения».

Потом Иосиф зашел к нам с Эрой. Несколько часов спал — вчера ночью у него были какие-то приключения, а дома отдохнуть он не мог из-за дурацкого ремонта. Спал до тех пор, пока около десяти стали звонить гости, уже пару часов тому назад собравшиеся у него.

В автобусе. Эра: «Что будем делать завтра?» И.: «Ну, теперь программа-минимум — дожить до следующего дня». Слегка помолчав: «Страшно подумать, сколько стукачей бродит вокруг дома, не говоря уже о тех, что внутри».

Внутри было около тридцати человек, среди них Еремин, Охупкин, Битов (я видел его впервые [...]), ну, разумеется, еще Ромас, Чертков, Рейн, Маша Эткин. Я избрал компанию дальше от Иосифа. Он, кстати, сразу присел к телевизору и стал смотреть какой-то матч. А после шума и тостов, около двух ночи, несколько из нас вышли погулять по Ленинграду — Маша, Ромас, Эра, Иосиф и я.

Только сегодня я услышал о каунасских событиях (Ромас — пару дней тому назад) [14 мая в Каунасе совершил самоубийство школьник Каланта, которого после смерти объявили психически больным. Его похороны превратились в демонстрацию и столкновение с властями]. Хотя известия неясны, кажется, это уже очень серьезно. Да и вообще нет ничего серьезнее смерти.

Ромас: «Мы превратились во второй народ этой страны. После евреев». И.: «Вскрытие, конечно, показало, что он сумасшедший».

Правда, это уже поколение, с которым у нас нет контакта.

Об отъезде Иосифа. Я.[ша] В.[иньковецкий]: «Они наши-таки у нас самое большое место». Тут же возник и грустноватый полуанекдот: Пушкина вызывают в III Отделение и говорят, что ему прислан вызов из Эфиопии.

Немного говорили о Ключеве. И.: «Он здорово похож на позднего Мандельштама».

И.: «У Рейна — не остроты, а монстроты. А вот еще хорошее слово: монстранство». «К открытию Суэцкого канала была написана “Аида”, а к закрытию надо бы написать “Аид”».

25 мая. Эра просмотрела весь свой архив, касающийся Иосифа, и сделала конкордансы. [...]

Вечером говорил с И. по телефону — он был на концерте Волконского. «Концерт вполне цивилизный, но я ушел после первого отделения, ибо во втором — Бетховен».

«Том, я в свое время послушался тебя и полечился. Теперь твоя очередь».

С моим здоровьем действительно что-то странное — может, сердце сдает.

Кстати, И. немало говорил о двух людях, которых любит — Мике Голышеве и Семененке («поэт он посредственный, а человек милейший»).

[...]

26 мая. Иосиф пришел уже без паспорта — с выездной визой. «Когда мне ее выдали, я сказал “спасибо”. Они говорят — “не за что”. “Действительно не за что”, — ответил я».

Пообедали у нас — втроем с Эрой.

Прояснилось стихотворение «Открытка из города К.» (Кенигсберга). Иосиф когда-то задал мне задачу — понять, что в этих стихах означают «пророчества реки». «Рябь на воде разрушает отражение здания, которое вскоре будет разрушено». Я: «А я думал, что вода напоминает о законе Архимеда — в стихах он переформулируется». И.: «Несомненно, можно и так».

И.: «“Погорельщина” Клюева — превосходная поэма, хотя и непонятно почему». «В последнее время мне стал нравиться Шелли. Это — как Лермонтов». Я: «А Лермонтов так уж хорош?» И.: «Перечти “Валерик” — и убедишься. Это — огонь. Будь моя воля, я издал бы Лермонтова объемом с “малую серию” — туда входили бы стихотворений сто, “Мцыри” и “Демон”; и было бы изумительно. В последнее время вообще я сдвигаюсь в сторону романтизма. Кстати, Некрасов тоже прекрасный поэт».

В списках Эры И. нашел «Увы, не монумент» и еще одно стихотворение; он о них запомнил (кажется, нигде больше они не сохранились) и очень обрадовался, когда увидел.

27 мая. Вильнюс. [...]

2 июня. Прилетел в Ленинград.

Видел Иосифа, у которого были Кушнер и Марамзин. Опять обедали в «Волхове». Иосиф в очень плохом состоянии — на грани нервного срыва.

Он только что вернулся из Москвы, где бегал по посольствам и учреждениям. В посольстве Нидерландов менял сто рублей на сто восемь долларов. «Лестница напоминает черный ход любого московского дома; потом холл, как в коммунальной квартире, и окошечко. Кто-то, кому разменяли меньше, чем ему хотелось, разбил стекло, поэтому окошечко закрыто фанерой. За ним сидит российская дама и фанеру время от времени приподымает. Тут же — раз-

говору моих соотечественников. Хочется выйти на улицу и сбить у столба от всего этого».

[...].

Говорили о Каунасе.

Несколько остроумия И., которые записываю: «Habeas coitus act» [в названии закона «Habeas corpus act» слово «corpus» (тело) заменено на «coitus» (совокупление)]. «Domus mea domus tolerantiae est» [«Дом мой дом терпимости наречется»].

Не пугайся с немцем встречи —
Вот урок немецкой речи.

Воскликая «гутен таг»,
Коммунист поджег рейхстаг.

Птичка выпала из брюк —
Мальчик, спрячь ее цурюк.

«Господа» звучит «геноссен»,
А компартия — «гешлоссен».

Повара не прячут тайн:
Немец — перец, русский — швайн.

Всего десять таких двустиший: не все из них И. припомнил, неясен и порядок, но вот последнее:

Череп катится по плахе,
Воскликая «дойче шпрахе».

Общими силами собрали (прежде всего М.[арамзин]) почти все сочинения И.: вышло около пятидесяти тысяч строк. Были и курьезы — И. признал своим стихотворение «Этот прекрасный мир, этот роскошный пир», которое на самом деле принадлежит Найману. Когда столько написано, нетрудно и ошибиться, тем более что стилистика там достаточно бродскианская.

И.: «Донжуанский список я тоже составил: примерно восемьдесят дам».

Разговор с матерью И. Марией Моисеевной. Ее истории: И. научился читать четырехлетним, и когда его начали проверять, принес книгу «Так говорил Заратустра» и почитал из нее. Вечно ее мучил, спрашивая о звездах и об их именах. А однажды в пятилетнем возрасте, плывя с ней на лодке через Волгу, спросил: «Мы ведь уже далеко уплыли: когда же мы потонем?»

3 июня. Самый последний день с Иосифом.

Фотограф Лева Поляков повел нас к церкви на улице Пестеля. Во время войны И. с матерью, бывало, лежали в подвале этой церкви, когда Ленинград обстреливался. Она видна с балкона Бродских, и когда я ходил к Иосифу, всегда проверял время по циферблату на ее башне.

Лева тоже уезжает и, по словам Иосифа, «ведет себя так, как будто уже оттуда приехал». У него пара любимых присказок: «Как здесь, так и там убить меня может только одно — смерть». «Советский человек с бомбой — плохой советский человек; советский человек без бомбы — хороший советский человек».

Сегодня он надеялся отвезти И. в Комарово, но тот уже был там три дня назад. Все кончилось снимками у церкви.

Потом мы остались одни. Дворами, дабы избежать возможных «хвостов», пошли к Неве. Спеша, вскочили в отплывающий пароходик у Летнего сада и около Медного всадника опять оказались на суше.

[...]

«Там я не буду мифом. Буду просто писать стихи, и это к лучшему. Впрочем, хочу получить должность — пускай бесплатную — поэтического консультанта при библиотеке конгресса, чтобы досадить здешней шайке».

«Надежда Яковлевна [Мандельштам] мне сказала: “Что ж, Цветаева все лучшее написала в эмиграции”. Люблю Надежду — не за ее заслуги или ум, а за то, что она человек нашего с тобой поколения».

В ответ на некоторые мои жалобы: «Человек время от времени должен чувствовать к себе ненависть и презрение — так и приобретает человечность. Впрочем, так она и теряется. Но всегда надо помнить, что уровень, на котором мы [...] уже находимся, абсолютно недоступен для огромного большинства». Я: «Это как слова Феокрита у Кавафиса». И.: «Конечно».

«Оказалось, что я написал пятьдесят тысяч строк. Хороших — думаю, от двух до четырех тысяч. В прошлом году не смог выдать из себя больше трех или четырех стихотворений».

[...]

Мы плыли мимо лучшей ленинградской набережной. «Вот этого я нигде не увижу. В Европе города рациональны; а этот построен на реке, через которую, в общем, невозможно мост перекинуть». Я: «И все-таки есть похожая набережная». И.: «Во Флоренции. Я угадал?» Он действительно угадал, что я имел в виду.

Ни с того ни с сего разговорились об Антониони. И.: «“Забриски Пойнт” — страшная дешевка: сдвину сцену у Боттичелли, он ду-

мает, что он уже Боттичелли. А тут еще эти взрывы». Но «Блоу-ап» ему по душе.

«Ты умеешь водить автомобиль? Это к тому, что у нас похожая психическая структура — рассеянность и так далее». Я: «Ты рассеян за письменным столом?» И.: «Ну нет». Я: «Так вот, автомобиль — примерно то же самое. Тебя не шокирует аналогия?» И.: «Разумеется, не шокирует».

Наконец дошли до почтового отделения на Невском; И. заказал разговор с Веной [...]. И оба ощутили, что уже пора.

Дал ему бутылку «Мельника» [крепкого литовского напитка], чтобы распили ее с Оденем. [...]

А потом показали друг другу знак [победы] «V», — два пальца, — и это было все.

4 июня. Договорились, что провожать не буду — «чтобы избежать лишних душераздирающих ситуаций». На аэродром поехала только Эра.

Теперь, когда пишу эти слова, он летит.

Вечером. Эра вернулась около полудня. Пошли с ней к родителям Иосифа.

Провожало всего семнадцать человек. Чертковы, Охупкин, Яша Гордин, Ромас, Поляков, Марамзин... Родителей и Марины не было.

Таможня не пропустила рукописи Иосифа — дескать, «физически не успеем их просмотреть». Ромас привез их в дом на Литейном. Там на короткое время собрались все провожатые.

И. шутил и держался хорошо, но после таможни вышел на пять минут попрощаться совершенно белым. Показал «V» — только Эра его поняла и ответила.

В пять часов пошли вдвоем на польский фильм «Эпидемия». С его окончанием И. должен спуститься в Вене; летит он через Будапешт и там в аэродроме ждет четыре часа. Вернувшись, позвонили его родителям: да, он уже дал знак, что на месте.

Кстати, может, все это и не «отрублено топором». Кто знает, где будет эта страна и мы сами спустя несколько лет. Есть «закон природы», который сдвигает края и континенты, и, возможно, советская власть против него не устоит.